

А. П. ЧЕХОВ

**ЗАТЕРЯННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
НЕИЗДАННЫЕ ПИСЬМА
ВОСПОМИНАНИЯ
БИБЛИОГРАФИЯ**

**Под редакцией
М. Д. Беляева и
А. С. Долинина**

**ТРУДЫ ПУШКИНСКОГО ДОМА
ПРИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК**

**ИЗДАТЕЛЬСТВО «АТЕНЕЙ»
ЛЕНИНГРАД
1925**

Ленинградский Гублит № 11386/19. — 2000 экз.

Российская Государственная Академическая Типография

В. О., 9 линия 12.

ВОСПОМИНАНИЯ О ЧЕХОВЕ.

А. И. СУВОРИНОЙ.

Помню, как восторженно и радостно сообщил мне Д. В. Григорович, что познакомился с молодым писателем Чеховым: «Талант, душечка моя, и настоящий талант, очень еще молодой, а уж чувствуешь, что настоящий литератор!». Муж тоже очень радовался появлению нового крупного таланта на поприще литературы. Однажды он пришел ко мне с радостной вестью, что Чехов будет у меня, прибавив при этом: «Ты сама увидишь, какой милый, интересный человек; жаль только, что живет не здесь, а в Москве»... Я конечно заинтересовалась этою восходящею звездою, горела желанием скорей с ним познакомиться и просила мужа, чтобы он привел Московского гостя ко мне, в мою гостиную: почему-то мне не хотелось знакомиться с ним в громадном, заваленном книгами кабинете мужа, всегда наполненном людьми, часто посторонними; у меня же был хорошенький, уютный и веселый уголок. Помню очень хорошо, что я положила на свой стол мои два любимых романа: «М-ме Вовагу» и «Анну Каренину», — для чего, сама не знаю. Но почему-то два-три дня прошли, а нового писателя все нет; я решила, что, очевидно, он уехал к себе в Москву и успокоилась, думая познакомиться с ним в другой его приезд. У нас в квартире, вопреки обычаю, зал был предоставлен детям в их полное распоряжение до вечера, и только с вечера его снова превращали в зал; до вечера таким образом это был скорее детский сад; кроме того, в одном из его углов стояла большая клетка с всегда зеленою сосною, где жили и умножались до 50 канареек и чижей, зал был на

солнце; птицы там заливались, дети, конечно, шумели, да еще надо добавить, что и собаки тоже принимали участие. Одним словом шум и гам стояли в зале. И вот, когда я уже совершенно не ждала и не приготовилась для встречи с новою восходящею звездою, явился А. П. Чехов. Несмотря на то, что я сказала, чтобы его провели в мою гостиную, он пришел сюда к нам прямо на «ярмарку»...

Я ужасно сконфузилась этою неподходящею обстановкою, да и он тоже как бы ошеломлен был неожиданностью картины. Улыбаясь, познакомился со мною, со всеми детьми, — и мы сели с ним около клетки на диванчик. Он спросил у детей название всех собак и сказал, что сам очень любит собак, при чем насмешил нас, сказав, что, по его мнению, комнатная собака думает про себя, что она вовсе не собака и собакой себя вовсе не считает, а остальных презирает и считает за собак. Это всех нас насмешило, и вскоре вся натянутость первой минуты прошла. Мы разговаривали довольно долго, Чехов передал мне поклон от моей семьи, жившей тогда в Москве.

Когда он уходил, я чувствовала себя с ним совсем просто и очень просила его остаться у нас пообвдать. Он в этот день не мог остаться, но обещал непременно прийти, как-то наивно прибавив: «Слушайте, у вас небось много будет народу»... Я обещала ему, что кроме его поклонника Д. В. Григоровича никого не будет. Мы расстались с ним уже совсем дружески, как будто это было не первое знакомство; я, по крайней мере, так чувствовала.

Как Григорович и муж мой, я тоже поддалась обаянию Чехова. Первое мое чувство или, вернее, впечатление было, что он должен походить на одного из любимых моих героев — на Базарова... Так почему-то мне представилось. Чехов был высокого роста, тонкий, очень стройный, с темно-русыми волнистыми волосами, серыми, немного с поволокою, чуть чуть смеющимися глазами и с привлекательной улыбкою. Он говорил приятным, мягким голосом и чуть чуть улыбаясь, когда обращался к тому, с кем вел беседу.

Я не могу нарисовать его портрет; у меня сохранилась моя любимая его карточка, на которой он снят у нас в Феодосии.

Мы с Чеховым быстро подружились, никогда не ссорились, спорили же часто и чуть не до слез, — я, по крайней

мере. Муж мой прямо обожал его, точно Антон Павлович заколдовал его. Исполнить какое-нибудь желание его, не говоря о просьбе, для него было прямо одно удовольствие. И со стороны Антона Павловича я видела тогда только любовь и уважение к мужу, и казалось, что они были такими друзьями, — на сколько может быть дружба между совсем еще молодым и пожилым уже человеком. Вообще Антон Павлович пришелся нам, как говорится, «ко двору», — его полюбила вся наша многочисленная семья и все наши домочадцы от старого до малого. Когда он приезжал к нам — для нас был праздник. Для него была у нас его собственная комната, так и называвшаяся «Чеховской комнатой», — с отдельным ходом прямо из передней, очень удобная для приема им своих приятелей и почитательниц. В комнате стоял огромный письменный стол, на котором перед приездом гостя укладывались огромные кипы всевозможной бумаги¹⁾, конвертов, перьев, карандашей — это его всегда смешило и забавляло. Он говорил, что это министерский стол, и ему остается только писать на нем приказы... «А хорошо, — добавлял он, обращаясь к моей дочери, — быть министром: сейчас, Настя, ваш папа написал бы в газете, что такой то министр проследовал из Москвы в Петербург». Я на это шутя возражала, что завидую больше градоначальнику: в какой бы зал или театр он ни приехал, — везде у него крайнее кресло в первом ряду...

Вообще Антон Павлович очень любил шутить и даже в самых серьезных разговорах часто переводил речь на шутку, чем всегда смягчал более или менее сухие и серьезные разговоры...

Наш Петербург очень нравился Чехову; он часто ходил в театры, к приятелям и к приятельницам, за которых ему от меня и доставалось: я его дразнила и стыдила, что за ним ухаживают женщины, как за итальянскими тенорами, а он меня стыдил в свою очередь, говоря, что не мне это говорить, что у меня в моей комнате все столы заставлены итальянцами... «Но я дама — возражала я — и мне это подобает; а вы,

¹⁾ Об этой «Суворовинской» бумаге Чехов упоминает в письме своем к Д. В. Григоровичу от 14 декабря 1888 — см. Ежегодн. Имп. Театров 1910 г., кн. II, стр. 1. (Ред.)

литератор—учитель; ваше дело страдать за правду, учить и поднимать нас, обывателей, до себя»...

После одного из отъездов Чехова в Москву я, вытирая пыль с моих любимцев-итальянцев, нашла между ними совершенно неожиданно карточку Антона Павловича с итальянскою припискою: «All'incomparabile signora A. S. ricordo affettuoso di suo amico Antonio Chekhoffini». Я так и не могла узнать, когда он успел это сделать...

Карточка эта у меня и до сих пор хранится и напоминает мне дорогого Антона Павловича и его милые заботы.

Когда мы переехали в свой дом в Эртелев переулок, у Антона Павловича была в нем, так сказать, собственная квартирка в две комнаты, — над нашею; она так и называлась «Чеховской квартиркой». Здесь у него бывало много его знакомых; там я познакомилась с его приятелем и горячим поклонником И. Л. Щегловым: он также его обожал и высоко ценил его мнение.

Антон Павлович гостил у нас по летам и в Феодосии, когда мы еще не имели там своей дачи. Он очень любил море, и мы, бывало, по целым дням лежали на раскаленном солнце песке или лунными вечерами смотрели на бесконечную морскую даль... Муж и Антон Павлович, будучи вместе, всегда говорили или рассказывали друг другу, никогда не молчали и не скучали вместе. Там же мы познакомили Чехова с нашим знаменитым маринистом И. К. Айвазовским. В Феодосии к нему относились с благоговением — «бог на небе, а Айвазовский в Феодосии»... Айвазовский тогда еще не переехал из своего имения, лежавшего в нескольких верстах от города, — знаменитого «Шейх-Мамай» около самого Мамаевского кургана; это было живописнейшее местечко: старые каштаны, кипарисы, мимозы окружали его дом. Айвазовский пригласил нас с Чеховым приехать к нему, пока цветут розы, так как потом они переезжают-де в город. Мы с Чеховым собрались и поехали уже вечером, а приехали часам к 9-ти; был чудный лунный вечер; Ивана Константиновича не было дома, и нас провели прямо садом к террасе, где за большим белым столом была одна хозяйка — красавица, вторая жена Айвазовского, родом армянка. Она была в белом пеньюаре с распущенными длинными черными, не совсем просохнувшими после купанья волосами; залитая лунным светом, она разбирала и отбирала в кор-

зины только что срезанные и рассыпанные на столе розы — для варенья.

Дивная ночь, красавица, усыпанная розами, — вся эта картина прямо ошеломила Антона Павловича. Айвазовская, не ожидавшая нас уже так поздно, страшно сконфузилась, бросила розы и хотела бежать переодеться... Ни мои просьбы, ни мольбы Антона Павловича не могли удержать ее и она скрылась... Антон Павлович уверил меня, что это волшебная сказка, что она заколдованная Персидская царевна и заколдована она злым волшебником Черномором... Через несколько минут наша царевна возвратилась в чем то более прозаичном и уже с завернутыми вокруг головы косами, и хотя она и в таком виде была прелестна, но волшебная сказка уже исчезла. На обратном пути Антон Павлович все время говорил о ней, все твердил, что Айвазовский заколдовал ее и спрашивал: «Что же женщинам надо? Любовь, красота, молодость или слава?». Зная роман Айвазовских от самой Айвазовской, я могла ему ответить, что здесь было слепое обожание, поклонение «морскому царю» и его славс.

У меня сохранилось несколько групп из Феодосии, снятых на нашей даче с Антоном Павловичем.

Ездили мы вместе с Чеховым и за границу, но подробности пребывания его с нами за границей как-то испарились у меня из памяти. Не помню, в каком именно году собрались мы как-то во время пребывания за границей посетить Д. В. Григоровича в его маленьком домике в Ветлинггау, около Вены; к нам должен был присоединиться и Чехов. Но перед самым нашим выездом мы получили от Антона Павловича телеграмму, что он не может съехаться с нами на определенном месте, но следом за нами приедет прямо в Вену. Приехали мы в Вену. Там на вокзале встречал нас, точно радужный хозяин Вены, Д. В. Григорович. Он уж напаял нам помещение, экипаж. На свой вопрос: «Где же Чехов?» — он очень огорчился, узнав, что тот еще не приехал. Этот неприезд Чехова мрачно отозвался на настроение духа Григоровича и моего мужа, так что даже нарядная, веселая Вена их не развеселила.

На другой день муж и Григорович ездили на вокзал встречать северные поезда. Но, увы! Они возвращались мрачные, усталые от ожидания, а Антона Павловича не было. Побывали мы и в Ветлинггау, у жены Дмитрия Васильевича,

катались на Prater'e, осмотрели всю Вену, а Чехова все нет и нет. Телеграмм было послано множество. Муж и Дмитрий Васильевич возмущались и снова ехали встречать Антона Павловича. Но все тщетно! Наконец, прожив в Вене, в ожидании его, больше 10 дней, мы решили уехать в Innsbruck и там ждать, а здесь поручить Дмитрию Васильевичу встретить его и известить нас о его прибытии. Но он так-таки и не приехал, написав письмо с объяснениями, что какие то обстоятельства переменяли его намерения. Не дождавшись его, мы поехали своей дорогой; встретились мы с ним только уж на обратном пути, в Париже. Конечно, все горечи были забыты; мне он по секрету сказал, что, едуци уже к нам на Запад, встретил «кого-то», и что этот «кто-то» переменял его маршрут, и вместо Запада он очутился, наоборот, на Востоке... Когда же я ему рассказала, как терзались муж и Григорович, он прибавил, что я должна все-таки его простить, так как имею на своей почтовой бумаге чудесный девиз, который ему очень понравился «Comprendre—pardonner!». На этот же девиз он ссылается в одном из своих писем ко мне.

Я сказала уже, что Чехова все любили. Он как бы приколдовывал к себе людей. Д. В. Григорович особенно его любил. Так как Григорович относился хорошо также и к нашей семье, больше всех любя мою, тогда совсем молоденькую дочь, он все хотел ее сосватать за Антона Павловича. «Душечка моя! Лучшей партии для Насти и не найти». Но его мечту не разделяли ни та, ни другая сторона. Антон Павлович был тогда далек от мысли о женитьбе, а дочь моя еще была тогда слишком юна и увлекалась чем угодно, но только не славой писателей. Для Антона Павловича эта мечта Григоровича была предметом постоянных шуток. Дразня и шутя, он часто говорил моей дочери, что, пожалуй, он бы и исполнил желание Дмитрия Васильевича, но с условием: «Чтобы ваш папа, Настя, дал мне за вами в приданое свою контору в мою собственность». Разумеется, хохоту было немало! Он в шутку иногда звал Настю «Конторой» (в письмах его к мужу нередко можно встретить такого рода приписку: «Привет милой Конторе»). Потом он уже говорил моей дочке, что уступает Контору: «Очевидно, что ваш отец

не отдаст мне ее! Так пусть хоть даст за вами свой ежемесячный журнал, но обязательно с его редактором, в мою собственность!».

Однажды у нас с ним зашла речь о письмах. Я сказала, что очень люблю получать письма, но не люблю сама писать и вообще не умею писать. Он говорил, что это просто моя лень. Не отрицая совсем этого недостатка, я оправдывалась тем, что где же простой смертной угоняться в переписках с «литераторами»: «ведь вы все без исключения, писатели, пишете свои письма, даже и любовные, не тому только, к кому они адресованы, а так сказать для потомства, т. е. для «Русской Старины» или для «Русского Архива». И я указала на эти два журнала, лежащих у него на письменном столе. «Ну признайтесь мне, что это верно?». Он смеялся, отрицал, конечно. Вскоре я получила от него письмо, где на конверте под моим адресом было написано: «Не для Русской Старины».

Каким милым, веселым, исключительно остроумным собеседником знала я Антона Павловича! Кажётся, вскоре он сделался «помещиком», купил свое Мелихово и оттуда я получала его милые юмористические письма¹⁾.

К нему многие общие наши знакомые ездили туда гостить и всегда рассказывали про необыкновенное радушие и гостеприимство хозяев.

Веселые пьесы Антона Павловича не сходили со сцены и пользовались большим успехом и на частных сценах, в провинции, и на домашних спектаклях. Но первую серьёзную пьесой его была «Иванов». «Иванова» ставили в первый раз на Александринской сцене в 1889 году. Пока Чехов не приезжал из Москвы, муж бывал на репетициях «Иванова» и принимал большое участие в них. Играли лучшие силы труппы. Муж был уверен в успехе — и, действительно, все прошло великолепно. Я помню, Антон Павлович сидел в нашей ложе, самой крайней от сцены, конечно очень волновался и потому на вызовы выходил бледный. Стрепетова и Савина были превосходны, сам Иванов играл неподражаемо. Автор был, повидимому, доволен.

¹⁾ Не придавая им тогда особой цены, я не сберегала эти письма, о чем теперь очень сожалею.

Если я не ошибаюсь, вторая пьеса Чехова, которая была поставлена на Александринской сцене, была «Чайка».

Ставилась эта печальная из печальных пьес в бенефис самой веселой комической артистки, — Левкеевой, общей любимицы Александринского театра. Билеты все были раскуплены мигом, и у кассы висел столь всегда желанный и для авторов и для артистов аншлаг: «билеты все проданы».

На репетициях Антон Павлович и муж мой страшно волновались. Автор считал, что актеры не находят настоящего тона. Уезжали на репетиции к 11 ч. утра и возвращались только к обеду, утомленные и нервные. Наконец, не помню, после какой репетиции, — последней или предпоследней, — они пришли ко мне оба возбужденные, и муж еще из соседней комнаты радостно сообщил мне, что репетиция прошла живо. Все играли с темпераментом, а Коммисаржевская неподражаемо.

Чехов, очевидно, разделял мнение моего мужа. Здороваясь со мною, он несколько сконфужено и шутливо сказал: «Вы будете сердиться на меня! Коммисаржевская своей мимикой и голосом чуть не довела меня до слез. Я почувствовал — что-то сжимает мне горло». Надо сказать, что я всегда дразнила знакомых авторов: «Как им не стыдно, говорила я, плакать и вообще реагировать на свои произведения». Антону Павловичу, я часто говорила шутя, что он не должен смеяться, а тем более рыдать над своими собственными произведениями: «Сами же вы выдумали и сами рыдаете, — ведь от вас же самих зависит сделать из грустного окончания — благополучный исход». Чехов всегда хохотал, когда я изображала перед ним выражение лица таких слезливых авторов, и обещал мне сделать лицо, для всех непроницаемое, — «каменое!». Вот почему он мне шутя и покаялся, что Коммисаржевская чуть-чуть не вывела его из «каменого» состояния. Я была рада за Антона Павловича, но, однако, не преминула добавить, что очевидно все авторы таковы: «вероятно, Шекспир тоже сам заливался над своим Лиром...». Обед прошел очень живо и возбужденно.

Так как после спектакля — предполагалось — автор будет наверное разорван на части и приятелями и артистами и ему будет не до меня, а мне страшно хотелось его поздравить раньше других, то мы уговорились с ним, что как только кончится представление, мы заедем тут же, очень

близко, в магазин Романова выпить по бокалу вина, и тогда он будет уже предоставлен себе и своим друзьям. Решили, и подписали. Но, увы!...

Мне до сих пор больно вспоминать этот вечер. Я забыла, что делал Антон Павлович днем, вечером же мы поехали в театр. Театр был набит веселой, нарядной, по-бенефисному одетой публикой с верху до низу. Поднялся занавес, в зрительном зале сделали мрак, и только тогда к нам в ложу вошел Антон Павлович. Он сел сзади меня. Я, хорошо зная состояние его духа, даже не пошевелинулась...

Начало прошло хорошо, спокойно. Аплодисментами, как всегда, встретили Коммисаржевскую. Но вот начала она читать проникновенным своим голосом в глубине сцены свой знаменитый монолог: «Люди, орлы, львы, рогатые олени»... и т. д. Внизу, как раз под нашей ложей, раздался какой-то дурацкий смех... Антон Павлович, как я заметила, страшно побледнел. Смех раздался и в другом месте и стал усиливаться. Поднялся шум. Коммисаржевская все продолжала, но с каждым мгновением — все труднее было слушать ее; в театре начался какой-то хаос: одни смеялись, другие шикали, чтобы остановить этот шум, и получился форменный кавардак. Несчастный автор до окончания ушел из ложи, в антракте кто вызывал автора, кто шикал, актеры выходили с изумленными лицами, ничего не понимая, в чем дело, да и публика шумела, тоже, кажется, ничего не понимая. Один сплошной ужас!

Второй акт прошел, сколько я помню, лучше, т. е. спокойнее. Антон Павлович сидел напротив нашей ложи, и я часто наводила свой бинокль на него, и часто мой бинокль встречал его взгляд, направленный в нашу сторону. В третьем акте опять началась какая-то кутерьма. Чехов сидел опять в нашей ложе, но, не дождавшись окончания акта, вышел из нее, и я увидела его только после полутора, кажется, месяцев! Я не буду описывать окончания спектакля. Его уже, вероятно, много раз описывали другие... Я только хочу сказать, что в жизни моей я никогда не присутствовала при таком ужасе. Подумать только, что должен был испытать сам автор! Муж мой волновался, выходил из себя, бегал на сцену, злился на всех, актеры тоже совершенно растерялись и едва находили себя...

Когда занавес опустился, Антона Павловича уже не было

в театре. Мы его немного подождали и уехали домой. Дома его тоже не было. Скоро к нам начали звонит по телефону, спрашивая, — где Чехов? Муж телефонировал всюду, где только мог быть Чехов. Никто и нигде не находил его. Было уже поздно. Я пошла спать, а муж остался все таки ждать его. — Утром мне сказали, что Антон Павлович пришел совсем поздно и с первым утренним ранним поездом уехал в Москву. — Муж мне рассказал, что он к нему все-таки пошел и что когда захотел зажечь электричество, Антон Павлович закричал: «Умоляю не зажигать! Я никого не хочу видеть и одно вам только скажу: пусть меня назовут».... (он сказал при этом очень суровое слово), — «если я когданибудь напишу еще что-нибудь для сцены». Тщетно муж мой старался его убедить, что было их ошибкою и очень крупною ошибкою, — дать такую серьезную и совершенно оригинальную пьесу в бенефис комической актрисы, для которой публика специально и пришла, чтобы вдоволь нахохотаться, и что второй и остальные спектакли наверное пройдут прекрасно: Чехов ничего не хотел слушать, решил чуть свет уехать и просил мужа передать мне свои извинения, что уезжает, не простившись со мною.

Я уже из Мелихова получила его, как всегда милое, сердечное письмо, где он опять просил меня вспомнить мой девиз. Это письмо до сих пор у меня¹⁾. Больше о «Чайке» я с ним никогда не говорила. Муж мой был прав: второе и третье представления прошли хорошо, и муж мог вполне искренно написать ему, что второе представление прошло при полном зале и при единодушных вызовах автора.

Последующие пьесы Чехова, как известно, были уже все успешны.

Моей любимой пьесой был «Дядя Ваня». Сколько раз Художественный Театр ни приезжал в Петербург, сколько раз ни ставили эту пьесу, я всегда была на ней. Лучше играть, правдивее, талантливее, чем Московский Художественный театр, невозможно.

Странно, не знаю почему, д-р Астров в исполнении Станиславского всегда очень напоминал мне самого Антона Павловича, и я с особенным волнением смотрела и слушала его в этой роли.

¹⁾ См. его ниже.

Потом я долго не видала Антона Павловича. Он начал хворать, жил довольно долго в Ницце, оттуда писал еще мне, но письма его были уже не те: хотя и перемешивались, как и раньше, шутками, но, очевидно, болезнь угнетала его. Как-то приехал из Ниццы в Петербург один доктор, привез мне привет от Антона Павловича и записочку, где он говорил, что с удовольствием бы приехал сам в Петербург, но, к сожалению, не может, что он очень соскучился по русскому балыку и просил меня прислать его ему. Я боялась спрашивать подробно о состоянии здоровья Антона Павловича: тогда уже ходил слух, что он серьезно болен...

Проездом из-за-границы он был у нас, но лишь только я взглянула на него, — я увидела, что это уже был не тот, всегда приветливый Антон Павлович... Кроме того, что он похудел и побледнел, явилось какое то сосредоточенное выражение лица и совсем уже не тот веселый, немножко насмешливый взгляд... После первых приветствий он как то внимательно посмотрел на форточки и просил меня закрыть их, несмотря на теплое время.

Потом, отдохнувши, он опять-было напомнил мне прежнего, всегда живого Чехова. Мы с ним долго разговаривали и даже спорили; но разница была та, что теперь уже не он шагал из угла в угол, как раньше бывало, а я; он же все время сидел смирно на кресле.

Больше, сколько я помню, я уже с Чеховым не видалась. К тому времени он купил имение в Крыму и большую часть жил там.

Я пишу это все — и так живо, так ясно вспоминаю и представляю себе Антона Павловича. Он как будто живой стоит передо мной, всегда милый, деликатный, ко всем такой чуткий и, главное, исключительно интересный... Не мне: воскрешать память его; да я и не пытаюсь сделать это, я просто набрасываю бледный облик Антона Павловича и то лишь облик того времени, когда я его близко знала и таким, каким он лично мне представлялся.

А. Суворина.

ПИСЬМА А. П. ЧЕХОВА К А. И. СУВОРИНОЙ¹⁾.

1.

19 октября [1896 г. Мелихово].

Милая Анна Ивановна, я уѣхалъ не простившись. Вы сердитесь? Дѣло въ томъ, что послѣ спектакля²⁾ мои друзья были очень взволнованы; кто-то во второмъ часу¹ ночи искалъ меня въ квартирѣ Потапенки; искали на Николаевскомъ вокзалѣ, а на другой день стали ходить ко мнѣ съ девяти часовъ утра, и я каждую минуту ждалъ, что прійдетъ Давыдовъ съ совѣтами и съ выраженіемъ сочувствія. Это трогательно, но нестерпимо. Къ тому же у меня заранѣе было предрѣшено, что я уѣду на другой день независимо отъ успѣха или неуспѣха. Шумъ славы ошеломляетъ меня, я и послѣ «Иванова» уѣхалъ на другой день. Однимъ словомъ, у меня было непреодолимое стремленіе къ бѣгству, а спуститься внизъ, чтобы проститься съ Вами было бы нельзя безъ того, чтобы не поддаться обаянію Вашего радушія и не остаться.

Крѣпко цѣлую Вамъ руку, въ надеждѣ на прощеніе. Вспомните Вашъ девизъ!

Всѣмъ низко кланяюсь. Пріѣду въ ноябрѣ.

Весь Вашъ А. Чеховъ.

19 октября.

2.

9 сентября [1897 г. Біаррицъ].

Лупитъ дождь. Холодно. Остановился въ Victoria, во второмъ этажѣ. Номеръ не дурной (14 фр. съ пансіономъ), постель широкая, бѣлая, но сосѣдъ тотъ же, что былъ въ

¹⁾ Изъ большой переписки Чехова с А. И. Сувориной (рожд. Орфановой) сохранились лишь печатаемые ниже три письма: остальные погибли во время революции вместе со всем архивом А. И. Сувориной.

²⁾ Первого представлення „Чайки“.

Hôtel Vendome: день и ночь шумъ и плескъ, точно купается купчиха. Не смотря на дурную погоду, на plag'ѣ кипитъ жизнь. Ъзда, крики, смѣхъ, трубные звуки. Въ общемъ пріятно.

Низко кланяюсь и шлю тысячу пожеланій. Привѣтъ Ал. Серг., Борѣ и Конторѣ. Жду обѣщанного письма, на которое отвѣчу подробно и обстоятельно.

Вашъ Antonie.

9 сентября.

На обороте: Russie: Petersbourg. Петербургъ, Эртелевъ 6. Аннѣ Ивановнѣ Сувориной. Почтовые штемпеля: Biarritz, 21 Sept. 97 и Петербургъ 13. IX. 27. Писано на бланке открытого письма с видом и адресом Hôtel Victoria.

3.

10 ноября [1897 г.]. Pension Russe, Nice.

Милая Анна Ивановна, большое Вамъ спасибо за письмо. Прочиталъ его и тотчасъ же сажусь писать отвѣтъ. Вы спрашиваете насчетъ здоровья. Самочувствіе у меня прекрасное, наружно (какъ мнѣ кажется) я здоровъ совершенно, но вотъ бѣда моя — кровохарканье. Кровь идетъ помалу, но подолгу и послѣднее кровотеченіе, которое продолжается и сегодня, началось недѣли три назадъ. Благодаря ему, я долженъ подвергать себя разнымъ лишеніямъ; я не выхожу изъ дому послѣ 3 час. пополудни, не пью ровно ничего, не ѣмъ горячаго, не хожу быстро, нигдѣ, кромѣ улицы, не бываю, однимъ словомъ не живу, а прозябаю. И это меня раздражаетъ, я не въ духѣ и мнѣ все время кажется, что русскіе за обѣдомъ говорятъ глупости и пошлости, и я дѣлаю надъ собою усиліе, чтобы не говорить имъ дерзостей.

Только ради Создателя никому не говорите про кровохарканье, это между нами. Домой я пишу, что я совершенно здоровъ, и иначе писать нѣтъ смысла, такъ какъ я чувствую себя прекрасно — и если дома узнаютъ, что у меня все еще идетъ кровь, то возопіютъ.

Теперь насчетъ интрижки, о которой Вы спрашиваете. Въ Біаррицѣ я завелъ себѣ для французскаго языка Margot дѣвиду 19 лѣтъ; когда мы прощались, она говорила, что непременно пріѣдетъ въ Ниццу. И вѣроятно она здѣсь, въ Ниццѣ, но я никакъ не могу ее найти и ... и не говорю по французски.

Погода здѣсь райская. Жарко, тихо, ласково. Начались музыкальные конкурсы. По улицамъ ходятъ оркестры, шумъ, танцы, смѣхъ. Гляжу на все это и думаю: какъ глупо я дѣлалъ раньше, что не жила въ по-долгу за границей. Теперь мнѣ кажется, что если буду живъ, я уже не стану зимовать въ Москвѣ, ни за какіе пряники. Какъ октябрь, такъ и вонъ изъ Россіи. Природа здѣшняя меня не трогаетъ, она мнѣ чужда, но я страстно люблю тепло, люблю культуру... А культура претъ здѣсь изъ cadaго магазиннаго окошка, изъ cadaго лукошка; отъ каждой собаки пахнетъ цивилизаціей.

Что Настя? Что Боря? Привѣтъ имъ сердечный и низкій поклонъ. Не будьте горды и величественны, пишите мнѣ почаще. Я нуждаюсь въ письмахъ. Цѣлую Вамъ руку 100×100 разъ и желаю счастья, и еще разъ благодарю.

Вашъ душой и сердцемъ

А. Чеховъ.

Конст. Сем-у¹⁾ поклонитесь.

¹⁾ Тычинкину, сотруднику „Нового Времени“.